

# Ребец империи и свободы

В последние годы эта статья выдающегося русского мыслителя стала особенно актуальной. Федотова цитируют политики, пушкинисты, журналисты. Современному педагогу необходимо знать пушкинские статьи Г.П. Федотова, которые до сих пор не изданы надлежащим тиражом. Г.И. Федотова интересуется Пушкин — наш вечный современник, чьё творчество всегда злободневно. Статья написана на чужбине к столетию со дня смерти А.С. Пушкина. В сфере внимания Г.П. Федотова — культурообразующий смысл пушкинского наследия. Эта давняя работа яркого философа поможет нам определить значение А.С. Пушкина в стратегии развития Просвещения в России.



Георгий Федотов

(1886–1951)

Как не выкинешь слова из песни, так не выкинешь политики из жизни и песни Пушкина. Хотим мы этого или не хотим, но имя Пушкина остаётся связанным с историей русского политического сознания. В 20-е годы вся либеральная Россия декламировала его революционные стихи. До самой смерти поэт несёт последствия юношеских увлечений. Дважды изгнанник, вечный поднадзорный, он оставался в глазах правительства всегда опасным, всегда духовно связанным с ненавистным декабризмом. И, как бы ни изменились его взгляды в 30-е годы, на предсмертном своём памятнике он всё же высек слова о свободе, им восславленной.

Пушкин-консерватор не менее Пушкина-революционера живёт в кругу политических интересов. Его письма, заметки, исторические темы его произведений об этом свидетельствуют. Конечно, поэт никогда не был политиком (как не был учёным-историком). Но у него был орган политического восприятия, в благороднейшем смысле слова (как и восприятия исторического). Утверждая идеал жреческого, аполитического служения поэта, он наполовину обманывал себя. Он никогда не был тем отрешённым жрецом красоты, каким порой хотел казаться. Он с удовольствием брался за метлу и политической эпиграммы, и журнальной критики. А главное, в нём всегда были живы нравственные основы, из которых вырастают политическая совесть и политическое волнение. Во всяком случае, в его храме Аполлона было два алтаря: России и свободы.

Могло ли быть иначе при его цельности, при его укоренённости во всеединстве, выражаясь языком ненавистной ему философии? Пушкин никогда не отъединял своей личности от мира, от России, от народа и государства русского. В то же время его живое нравственное сознание, хотя и подчинённое эстетическому, не позволяло принять всё действительное как разумное. Отсюда революционность его юных лет и умеренная оппозиция режиму Николая I. Но главное, поэт не мог никогда и ни при каких обстоятельствах отречь-

ся от того, что составляло основу его духа, от свободы. Свобода и Россия — это два метафизических корня, из которых вырастает его личность.

Но Россия была дана Пушкину не только в аспекте женственном — природы, народности, как для Некрасова или Блока, но и в мужеском — государства, Империи. С другой стороны, свобода, личная, творческая, стремилась к своему политическому выражению. Так само собой даётся одно из главных силовых напряжений пушкинского творчества: Империя и Свобода.

Замечательно: как только Пушкин закрыл глаза, разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали империю. Этого самоубийственного разлада — духа и силы — не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, её разьедавшего. Консервативная, свободоненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы; она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задыхался. Свободопобивая, но безгосударственная Россия рождается в те же тридцатые годы с кружком Герцена, с письмами Чаадаева. С весьма малой погрешностью можно утверждать: русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Вольнодумец, бунтарь, декабрист — Пушкин ни в одно мгновение своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной исторической формацией — русской интеллигенцией. Всеми своими корнями он уходит в XVIII век, который им заканчивается. К нему самому можно приложить его любимое имя:

*Сей остальной из стаи славных  
Екатерининских орлов.*

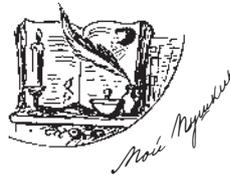
Изучая движение обеих политических тем Пушкина, мы видим, что одна из них не перестаёт изменяться, постоянно сдвигает свои грани и в общем указывает на определённую эволюцию. Выражаясь очень грубо, Пушкин из революционера становится консервативатором. 14 декабря 1825 года, столь же грубо, можно считать главной политической вехой на его пути. Мы постараемся лишь показать, что как в декабрьские свои годы Пушкин не походил на классического революционного героя, так и в николаевское время, отрекшись от революции, он не отрекался от свободы. Сама свобода лишь менялась в своём содержании. Зато другая тема, тема империи, остаётся неизменной. Это константа его творчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два «Воспоминания в Царском Селе». Одно лицейское 1814 года, то самое, которое он читал на экзамене перед Державиным, другое 1829 года, по возвращении, после долгих лет изгнания, в священные сердцу места. При всём огромном различии художественной формы тема не изменилась; остались те же сочетания образов: «великая жена», Кагульский памятник, столь дорогой ему по воспоминаниям отроческой любви.



*Увы, прочкались те времена златые,  
Когда под скипетром великих друзей  
Венчалась славою счастливая Россия, —*

вздыхает отрок. И зрелый Пушкин отвечает:

*Еще исполнишь великого друзей,  
Ее любилые сады*



*Стояют насмешки чертосамы, столнами,  
Тробокищайки джудей, кумирами богов,  
И слабой мраморной, и меккыи свалами  
Екатерининских орлов.*

Героические воспоминания минувшего века окружают детство Пушкина. Летопись побед России воплощается в незабываемых памятниках, рассеянных в чудесных садах Екатерины. Личная биография поэта на заре его жизни сливается с историей России: её не вырвать из сердца, как первую любовь.

Гроза 1812 года глубоко взволновала Царскосельский лицей. Для Пушкина она навсегда осталась источником вдохновения. Но замечательно, что за ней он прозревал век ещё более могучий, которого последними отпрысками были герои 1812 года. Слагая оды Кутузову, Барклаю де Толли, он их видит на фоне восемнадцатого века. Таков же для него и генерал Раевский — «свидетель екатерининского века» прежде всего, и уже потом «памятник 1812 года»; Пушкин никогда не терял случая собирать живые воспоминания прошлого века — века славы — из уст его последних представителей. Таковы для него старый Раевский, кн. Юсупов, Мордвинов, фрейлина Н.К. Загряжская, разговоры с которой он тщательно записывал.

Нахлынувшие в молодости революционные настроения несколько не поколебали у Пушкина этого отношения к империи — не только в прошлом её великолепии, но и в живой её традиции, в настоящей борьбе за экспансию. Чрезвычайно интересно изучать то, что можно назвать имперскими концовками в его ранних, так называемых байронических поэмах: в «Кавказском пленнике», в «Цыганах» — там, где мы их менее всего ожидаем. Казалось бы, на Кавказе сочувствие мятежного поэта должны были привлечь вольнолюбивые горцы, отстаивавшие свою свободу от наступающей России. Ведь для пленника в жизни нет ничего выше свободы:

*Свобода, от одной тебя  
Еще искал в подлунном свете...*

Байрон и Вальтер Скотт конечно, встали бы на сторону горцев. Но Пушкин не мог изменить России. Его сочувствие раздваивается между черкесами и казаками. Чтобы примирить своё сердце с имперским сознанием, — свободу со славой, — он делает русского пленником и подчёркивает жестокость диких сынов Кавказа. Тогда казацкие линии и русские штыки становятся сами символом свободы:

*...тропой далкой,  
Освобожденный пленник шел,  
И перед ним урре в тулганай  
Сверкали русские штыки,  
И окликались на курганай  
Сторожевые казаки.*

Не довольствуясь этим завершающим аккордом, поэт слагает в Эпигоне гимн завоевателям Кавказа — Цицианову, Котляревскому, Ермолову, не щадя жестоких красок, не смягчая исторической правды. Особенно ужасным встает Котляревский, — «бич Кавказа». Стихи, ему посвящённые:



Кавказский казак. Рисунок А.С. Пушкина

*Твой год, как черная зараза,  
Губил, нистогршил тлелка, —*

вызвали в своё время гуманные и справедливые замечания кн. Вяземского: «Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести... Гимн поэта никогда не должен быть слово-словием резни».

Здесь, несомненно, налицо погрешность против нравственного, а следовательно, и художественного такта. Это юношеское увлечение насилием в гимне империи находит свою параллель в оде «Вольность» — гимне свободе.

Зато в зрелых, почти совершенных «Цыганах» «имперская концовка» даёт настоящее разрешение пронёсшейся буре губительных страстей. Над личной трагедией проносятся как примиряющее и возвышающее воспоминание:

*В стране, где долго, долго брани  
Чужасный гул не умолкал...  
Тё старый как орёл буелавый  
Еще шумит мнущий славои...*

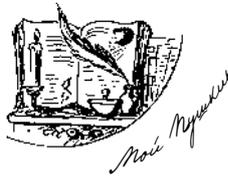
В «Полтаве», в «Медном всаднике» тема Империи уже не концовка и не орнамент; она составляет самую душу поэм: заглавия об этом свидетельствуют. В «Полтаве» Пётр, истинный её герой, подавляет своим грозным величием трагических любовников:

*Лишь ты воеводи, герой Полтавы,  
Осрокный памятник себ.*

Этот памятник, с теми же аполлиническими и грозными чертами императора, оживает и в петербургской поэме. В «Медном всаднике» не два действующих лица, как часто утверждали, давая им символическое значение: Пётр и Евгений, государство и личность. Из-за них явственно встаёт образ третьей, безликой силы: это стихия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена большая часть поэмы. И какое это изображение! Нева кажется почти живой, одушевлённой, злой силой:

*Осада, приступ! Злы волквы,  
Как ворвы, ледут в окна...*

Продолжая традиционную символику — законную, ибо всадник, несомненно, символ Империи, как назвать эту третью силу — стихии? Ясно, что это тот самый змей, которого топчет под своими копытами всадник Фальконе. Но кто он, или что он? Теперь, в свете торжествующей революции, слишком соблазнительно увидеть в этой стихии революцию, обуздываемую царём. Но о какой стихийной революции мог думать Пушкин? Уж, конечно, не стихийным было 14 декабря. Пугачёвщина скорее напоминает разлив волн. Но и это толкование было бы слишком узким. Для Фальконе, как для людей XVIII века, змей означал начало тьмы и косности, с которым борется Пётр: скорее всего старую, московскую Русь. Мы можем расширить это понимание: змей или наводнение — это всё иррациональное, слепое в русской жизни, что, обуздываемое Аполлоном, всегда готово прорваться: в сектантстве, в нигилизме, в черносотенстве, бунте. Русская жизнь и русская государственность — непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом



разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. А Евгений, несчастная жертва борьбы двух начал русской жизни, — это не личность, а всего лишь обыватель, гибнущий под копытом коня империи или в волнах революции.

Конечно, и всадник империи имеет в себе нечто демоническое, бесчеловечное:

*Ужасен он в окрестной мле.*

Называя его «кумиром», поэт подчёркивает языческую природу государства. Пусть ужасный лик Петра в «Полтаве» божествен:

*Он весь как божья гроза.*

Но что это за божество? Кто это «бог браней» со своей благодатью? Не Аполлон ли, раз навсегда смутивший воображение отрока поэта? «Дельфийский идол» «полон гордости ужасной» и дышащий «неземной силой».

Бесполезно было бы до конца этизировать аполлинический эрос империи, которым живёт Пушкин. Мы уже видели срыв военных строф «Кавказского пленника». Этот срыв неизбежен в песнях войны. На бранном поле Аполлону трудно сохранить благородство своей бесстрастной красоты. Где кровь, там торжествует стихия: «И смерть и ад со всех сторон».

Пушкин любил войну — всегда, от детских лет до смерти. В молодости мечтал о военной службе, в тридцать лет, в Эрзерумском походе, мчался — единственный раз в жизни — в казачьем строю против неприятеля. За отсутствием военных впечатлений, всю жизнь возился с оружием, искал в дуэлях волнующих ощущений. Даже Николай Павлович импонировал ему «войной, надеждами, трудами».

Бесполезно поэтому видеть в империи Пушкина чистое выражение нравственно-политической воли. Начало правды слишком часто в стихах поэта, как и в жизни государства, отступает перед обаянием торжествующей силы. Обе антипольские оды («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина») являются ярким воплощением политического аморализма:

*Славянские ль руки сольются  
в Русском море.  
Оно ль иссякнет?*

Это чистый вопрос силы. Самая возможность примирения враждующих славянских народов, возможность их братского общения игнорируется поэтом. И здесь, как в гимне Котляревскому, Пушкин имеет против себя кн. Вяземского и А.И. Тургенева. Зато можно представить себе, что бывшие друзья его — декабристы были бы с ним в этом отношении к польскому восстанию 1830 года. Имперский патриотизм был не менее сильной страстью революционеров 20-х годов, чем самое чувство свободы. Великодушное отношение к Польше императора Александра глубоко их возмущало. В этом нечувствии к Польше, к её национальной ране, Пушкин, как и декабристы, принадлежит всецело XVIII веку.

Пётр I.  
Худ. В.А. Серов.  
1907



Но, если это так, если империю нельзя очистить до значения нравственной силы, не разрушает ли она свободы? Каким образом Пушкин мог совмещать служение этим двум божествам?

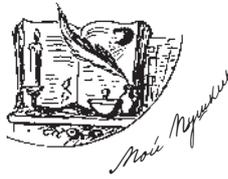
Вернёмся к «Медному всаднику», который даёт ключ к пушкинской империи. В этой поэме империя представлена не только Петром, воплощением её титанической воли, но и Петербургом, его созданием. Незабываемые строфы о Петербурге лучше всего дают возможность понять, что любит Пушкин в «творении Петра». Совесть цитировать то, что мы все помним наизусть, что повторяем ежедневно, как благие чары против тоски и смуты нашей жизни. Но, не цитируя, стоит лишь напомнить, что всё волшебство этой северной петербургской красоты заключается в примирении двух противоположных начал: тяжести и строя. Почти все эпитеты парны, взаимно уравнивают друг друга: «громады стройные», «строгий, стройный вид», «узор чугунный». Чугун решётки прорезывается лёгким узором; громады пустынных улиц «ясны», как «светла» игла крепости. Недвижен воздух жестокой зимы, но лёгок зимой «бег санок» и «ярче роз — девичьи лица». Как торопится Пушкин набросить на гранитную тяжесть своего любимого города прозрачную ясность белых ночей, растворяющих все «громады» её спящих масс в неземном и призрачном. И даже суровые военные потехи марсовых полей исполнены «стройно-зыблемой» живой «красивостью». Пушкин, как и Николай I, любил военные парады. Но, несомненно, они должны были по-разному воспринимать их красоту.

Империя, как и её столица, для Пушкина с эстетической точки зрения это прежде всего лад и строй, окрылённая тяжесть, одухотворённая мощь. Она бесконечно далека от тяжести древних восточных империй, от ассирийского стиля, в котором, например, по-лебисмарковская и современная Германия ищет воплотить свой идеал мощи.

Но эта эстетическая стройность империи получает — по крайней мере, стремится получить — и своё нравственное выражение. Пушкин по-разному видит Петра. То для него он полубог, или демон, то человек, в котором Пушкин хочет выразить свой идеал светлой человечности. Таков он в «Арапе Петра Великого», таков в мелких пьесах. «Шир Петра Великого» — это апофеоз прощения. В стансах 1826 г. он «незlobен памятью», «правдой привлёк сердца». Но ещё более, чем правда и милость, подвиг просвещения и культуры составляет для Пушкина, как для людей XVIII века, главный смысл империи: он «наравы укротил наукой», «он смело сеял просвещение». Преклонение Пушкина перед культурой, ещё ничем не отравленное, — ни славянофильскими, ни народническими, ни толстовскими сомнениями, — почти непонятное в наши сумеречные дни, — не менее военной славы приковывало его к XVIII веку. Он готов посвятить неосуществлённой Истории Петра Великого свою жизнь. И хотя изучение архивов вскрывает для него тёмные стороны тиранства на любимом лице, он не допускает этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра: подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа «Великой Жены» в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии, — включая и прозаическую поэзию, — Пушкин чтит в венценосцах XVIII века — более в Петре, конечно, — творцов русской славы и русской культуры. Но тогда нет ничего несовместимого между империей и свободой. Мы понимаем, почему Пушкину так легко дался этот синтез, который был почти неосуществим после него. В исторических заметках 1822 г. Пушкин выразился о своём императоре: «Пётр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения»... В другом месте назвал его «revolution incarnée»<sup>1</sup>, со всей двойственностью смысла, который Пушкин — и мы — вкладываем в это слово.

Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существа. Без свободы немислим Пушкин, и значение её выходит далеко за пределы политических настроений поэта. В известном «Демоне» 1823 г. Пушкин даёт такой инвентарь своих юношеских, — а на самом деле постоянных, всегдашних, — святынь:

<sup>1</sup>  
«Воплощённая  
революция» (фр.).  
(Рел.)



*Когда возвышенны чувства,  
Свобода, слава и любовь,  
И вдохновенны искусства  
Так сильно волновали кровь...*

При видимой небрежности этого списка он отличается исчерпывающей полнотой. Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься, что к этим четырём «чувствам» сводится всё откровение пушкинского гуманизма. Свобода, слава, любовь и творчество — это его *virtutes cardinales*<sup>2</sup>, говоря по-католически. Правда, это ещё не весь поэт. Пушкину не чужды и *vertutes theologales*<sup>3</sup>, на которые он бросает намёк в «Памятнике»: «милость к падшим». Чем дольше Пушкин живёт, тем глубже прорастают в нём христианские семена (последние песни «Онегина», «Капитанская дочка»). Но «природный» Пушкин — иначе говоря, Пушкин, созданный европейским гуманизмом, — живёт этими четырьмя заветами: свободой, славой, любовью, вдохновением. Он никогда не изменяет ни одному из них, но если можно говорить об известной иерархичности, то выше других для него свобода и творчество. Он может, во имя свободы, указать на двери любви:

*Беги, сокройся от очей,  
Чуждым слабая царьца...*

и во имя её же поставить славу рядом с рабством:

*Рабства грозный гений  
И Славы роковая страсть... —*

Но никогда, ни на одно мгновение своей жизни Пушкин не может отречься ни от свободы, ни от творчества.

Следя за темой империи у Пушкина, мы, в сущности, следим за политической проекцией его «славы». Приступая к свободе, не будем сразу ограничивать её политическими рамками. Движение этой темы у Пушкина, во всей её полноте, может многое уяснить и в изменчивой судьбе его политической свободы.

«Свобода, вольность, воля»... особенно «свободный, вольный»... нет слов, которые чаще бросались бы в глаза при чтении Пушкина. Пожалуй, они встречаются так часто, что мы к ним привыкаем, и они перестают звучать для нас (в этом омертвлении привычного совершенства главная причина нередкой у нас холодности к Пушкину). Осознаём ли мы вполне смысл таких строк:

*Как вольность, всем их кощев? ..*

Чувствуем ли мы всю странность этого образа:

*...под отдаленным сводом  
Гулжит вольная луна, —  
издевающегося над всеми законами астрономии?*

2

Основные добродетели  
(лат.). (Ред.)

3

Богословские  
добродетели (лит.).  
(Ред.)

В невиннейшей «Птичке» способны ли мы, подобно умному цензору, разглядеть серьёзность и почти религиозную силу пушкинского свободолюбия:

*За что на бога мне роптать,  
Когда есть одному творческому  
Я мог свободу заробовать?*

В чём только, в каких образах Пушкин ни искал воплощения своей свободы! В вине и пире, в орле, «вскормлённом на воле», и в беззаботной «птичке Божией», в волнующем море (это один из главных ликов свободы) и в линии снеговых гор. Свободе посвящены всецело поэмы (помимо не удавшегося юношеского «Вадима»): «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Цыганы». Из поздних свобода, конечно, одушевляет «Анджело».

Но в отличие от темы империи тема свободы непрестанно движется. Пушкин не только находит все новые её воплощения, от иных он отрекается, хотя у Пушкина отречение никогда не бесповоротно. За сменой форм ясно изменение в самой природе пушкинской свободы: не только в творчестве, но и в живой личности поэта.

В лицейские и ранние петербургские годы свобода впервые открылась Пушкину в своей волеи разгула, за стаканом вина, в ветреном волокитстве, овеянном музой XVIII века. Парни и Богданович стоят, увы, восприимчивыми свободы Пушкина, как Державин — его империи. Но уже восходит звезда Шенье, и поэт Вахха и Киприды становится поэтом «Вольности». Юношеский протест против всякой тирании получает свою первую «сублимацию» в политической музе. В сознании юного Пушкина его политические стихи — серьёзное служение. В них дышит подлинная страсть, и торжественные классические одежды столь же идут к ним, как и к революционным композициям Давида. Но у Шенье есть и другой соперник: Байрон. Политическая свобода в лире Пушкина, несомненно, созвучна той мятежной волне страстей, которая владеет им, хотя и не всецело, в начале 20-х годов: тот же взрыв порабощённых чувств, та же суровая энергия, та же мрачность, заволакивающая на время лазурь. В эти годы, на юге, море («свободная стихия») становится символом этой страстной, стихийной свободы, сливаясь с образами Байрона и Наполеона. Но как близок катарсис, аполлиническое очищение от страстей! В «Цыганах» мы имеем замечательное осложнение темы свободы, в которой Пушкин совершает над собой творческий суд: свободу мятежную он судит во имя всё той же, но высшей свободы.

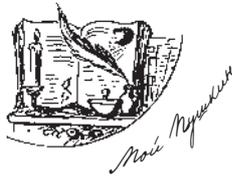
Алеко порвал «оковы просвещения», «неволю душных городов», и это первое освобождение — байроническое — остаётся непререкаемым. Он прав в своём бунте против цепей условной цивилизации. Он ищет под степными шатрами свободы и не находит. Почему? Пушкин верит или хочет верить, что «бродячая бедность» цыган и есть желанная «воля»:

*Весь люди волквы, небо ясно...*

Но этой ясности Алеко не дано. Он несёт в себе свою собственную неволю. Он раб страстей:

*Но, боже, как играли страсти  
Его послушную душой.*

Грех Алеко в «Цыганах» не столько против милосердия, сколько против свободы:



*Мы не рождены для дикой доли,  
Мы для себя лишь хотим воли.*

Порвавшему оковы закона необходимо второе освобождение — от страстей, на которое Алеко не способен. Способны ли на это сыны степей? Поэту кажется, что да. В цыганской вольности даются два ответа на роковой вопрос: лёгкость изменчивой Земфиры, этой пушкинской Кармен, и светлая мудрость старика, который из отречения своей жизни выносит то же благословение природной, изменчивой любви:

*...вольнее птицы молодость.  
Кто в силах удержатъ любовь?*

В оптимизме старика-цыгана слышатся отзвуки Руссо. Но отдавая дань и здесь XVIII веку, Пушкин всё же сомневается в его правде. Один ли Алеко, чужак, угрожает счастью детей природы? Последние звуки полны безысходного, совершенно античного трагизма:

*И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет.*

Очищение Пушкина от «роковых страстей» протекает параллельно с изживанием революционной страстности. Это первый серьёзный кризис его «свободы», о котором дальше. Прощание с морем в 1824 году — не простая разлука уезжающего на север Пушкина. Это внутреннее прощание с Байроном, революцией — все ещё дорогими, но уже отходящими вдаль, но уже невозможными.

С тех пор, на севере, свобода Пушкина всё более утрачивает свой страстный, дионисийский характер. Она становится трезвее, прохладнее, чище. Она всё более означает для Пушкина свободу творческого досуга. Её все более приходится отстаивать от утилитаризма толпы, от большого света, в который вошёл Пушкин. Она расцветает чаще всего осенью: уже не море, а русская деревня, Михайловское, Болдино являются пестунами её. Свобода Пушкина становится символом независимости. Такова её, приправленная горечью, последняя декларация (так называемое «Из Пиндемонти»):

*Итак, лучшея потребность мне свобода...  
Никому  
Ответа не давать; себе лишь самому  
Служить и угождать...  
Но пригоди свои скитанья здесь и там,  
Дивись безроственным природы красотам,  
И пред созданьями искусств и возмоясь  
Безмолвно утонать в восторгах удивленья —  
Вот счастье! вот права...*

<...>В 1825 г. Пушкин на распутье. Позади море, юг, революция — перед ним Михайловское, деревня, Россия. Нет сомнения, что его развитие в сторону «свободного консерватизма» было предопределено. Но в этот медленный, органический рост его нового

чувства России 14 декабря упало, как молния. Оно сильно запутало и исказило ясность пушкинского пути. Оно заставило поэта принять решение, сделать выбор — для него, быть может, преждевременный. Оно стало исходным пунктом ложного положения, в котором Пушкин мучился всю свою жизнь. Это положение можно было бы охарактеризовать кратко: поднадзорный камер-юнкер, или певец империи, преследуемый до самого конца за неистребимый дух свободы.

Корни пушкинского консерватизма — вполне определённого — многообразны и сложны. В главном он связан, конечно, с «поумнением» Пушкина: с возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию, на её политические возможности, на роль её исторической власти. Личный опыт и личный ум при этом оказываются в гармонии с основным и мощным потоком русской мысли. Это течение — от Карамзина к Погодину — легко забывается нами за блестящей вспышкой либерализма 20-х годов. А между тем национально-консервативное течение было, несомненно, и более глубоким, и органически выросшим. Оно являлось прежде всего реакцией на европеизм XVIII века, могущественно поддержанный атмосферой 1812 года. У его истоков — «История Государства Российского», в завершении — русские песни Киреевского, словарь Даля, молодая русская этнография николаевских лет. «Народность» не была только официальным лозунгом гр. Уварова. Она удовлетворяла глубокой национальной потребности общества. И Пушкин принял участие в творческом изучении русской народности как собиратель народных песен, как создатель «Бориса Годунова» и «Русалки». Мы понимаем, почему он был ближе по своим сочувствиям к Карамзину (несмотря на юношескую эпиграмму), чем к Каченовскому, к Погодину, чем к Полевому.

Но к этим органическим и оправданным мотивам историческая случайность (14 декабря) присоединяет другие, менее чистые. С одним мы уже познакомились: это скептицизм. Другой явственно и болезненно для нас встаёт в его письмах: это его естественная, но отнюдь не героическая потребность — определить как можно скорее свою судьбу, вырваться из Михайловского, покончить с прошлым, вступить с правительством в лояльные, договорные отношения. Замечательно, что и этот мотив восходит всё к той же свободе — на этот раз личной свободе. Пушкин жаждет вырваться из ссылки какой бы то ни было ценой: не удастся бегство из России, эмиграция, — остаётся договориться с царём. В этих переговорах все преимущества были на стороне императора. Николай I показал себя, как в отношениях с декабристами, превосходным актёром, и Пушкин запутался в сетях царя.

Есть полная и печальная аналогия между отношением Пушкина к Н.Н. Гончаровой и отношением его к Николаю. Пушкин был прельщён и порабощён навсегда — в одном случае бездушной красотой, в другом — бездушной силой. С доверчивостью и беззащитностью поэта Пушкин увидел в одной идеал Мадонны, в другом — Великого Петра. И отдал себя обоим добровольно, связав себя словом, обетом верности, обрекавшим его на жизнь, полную мелких терзаний и бессмысленных унижений.

Но как понятен источник роковой ошибки. Поэт, наскучивший своей бездомностью и скитальчеством, хочет иметь родину, семью, быть певцом родной земли и вкусить лояльной, не блуждающей любви. Возьмём первую тему. Доселе он воспевал императоров XVIII века, носителей свободы, и проклинал царей своего времени — Павла, Александра, изменивших ей. Почему же новый царь не может вернуться к благородной традиции свободолобивой империи? Пушкин не изменяет себе, он лишь хочет сковать в одно две свои верности, две политических темы своей музыки: империю и свободу. «Стансы» Николаю, его поэтический договор с царём, где он предлагает ему идеал Петра, — разве это измена? Пушкин долго живёт надеждами, ловит в словах нового самодержца проблески просвещённой доброй воли; ошибаясь, бранится, будирует, но не разрывает новой лояльности. <...>

Наконец, нельзя не видеть сжатого под очень высоким «имперским» давлением пафоса свободы в пушкинском «Пугачёве». Не случайно, конечно, Стенька Разин и Пугачёв,



наряду с Петром Великим, более всего влекли к себе историческую лиру Пушкина. В зрелые годы он никогда не стал бы певцом русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». Но он и не пожелал бросить Пугачёва под ноги Михельсону и даже Суворову. В «Капитанской дочке» два политических центра: Пугачёв и Екатерина, и оба они нарисованы с явным сочувствием. Пушкин, бесспорно, любил Пугачёва за то же, за что он любил Байрона и Наполеона: за смелость, силу, проблески великодушия. Пугачёв, рассказывающий с «диким вдохновением» калмыцкую сказку об орле и вороне: «Чем триста лет питаться падалью, лучше один раз напиться живой крови», — это ключ к пушкинскому увлечению. Оно порукой за то, что Пушкин, строитель русской империи, никогда не мог бы сбросить со счетов русской, хотя бы и дикой, воли. Русская воля и западное просвещение проводят грань между пушкинским консерватизмом, его империей, и николаевским или погодинским государством Российским.

Конечно, Пушкин не политик и не всегда сводит концы с концами. Есть у него грехи и прегрешения против свободы — и даже довольно тяжкие. Таково его удовлетворение по поводу закрытия журнала Полевого или защита цензуры в антирадищевских «Мыслях на дороге». Но все эти промахи и обмолвки исчезают перед его основной лояльностью. Никогда, ни единым словом он не предал и не отрёкся от друзей своей юности — декабристов, как не отрёкся от А. Шенье и от Байрона. Никогда сознательно Пушкин не переходил в стан врагов свободы и не становился певцом реакции. В конце концов кн. Вяземский был совершенно прав, назвав политическое направление зрелого Пушкина «свободным консерватизмом». С именем свободы на устах Пушкин и умер: политической свободы в своём «Памятнике», духовной в стихах к жене о «покое и воле». Пусть чаемый им синтез империи и свободы не осуществился — даже в его творчестве, ещё менее в русской жизни; пусть Российская империя погибла, не решив этой пушкинской задачи. Она стоит и перед нами, как перед всеми будущими поколениями, теперь ещё более трудная, чем когда-либо, но непреложная, неотвратимая. Россия не будет жить, если не исполнит завещания своего поэта, если не одухотворит тяжесть своей вновь воздвигаемой Империи крылатой свободой.

1937



*Из средневековых записей Пушкина ...*

*Потёмкин, встречаясь с Шешковским, обыкновенно говаривал ему:  
«Что, Степан Иванович, какво кнутобойничаешь?» На что Шешковский  
отвечал всегда с низким поклоном: «По-маленьку, ваша светлость!»*